

О «БАБЬЕМ» В РУССКОЙ СМУТЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

П.П. Марченя

Даже при рассмотрении войн, смут и прочих социальных бед и катастроф, на которые столь богата отечественная история, русской философской и художественной традиции скорее свойственны идеализация и мифологизация «вечно-женственного начала» России и ее истории, чем стремление выявить подлинную роль женщин в тех или иных конкретно-исторических событиях. И в таком контексте на первый взгляд вполне органичной выглядит расхожая поэтическая формула: «У войны не женское лицо». Причем популярность этого лирического представления парадоксальным образом сочетается с устойчивостью мифа о женственной природе России – напомним, страны, почти непрерывно воюющей на протяжении всей своей истории.

Однако эмпирическая обоснованность вывода о «не женском лице» войны не выглядит убедительной для специалистов, знакомых с гендерной изнанкой различных массовых психопатологических процессов. Да и не выглядит случайным то, что большая часть исторических и природных явлений катастрофического характера обозначается словами очевидно женского рода: те же самые *война, катастрофа, беда, буря, гроза, угроза...* а также *смута, распря, революция, измена, интервенция, оккупация...* и т.д. и т.п. – так что, пожалуй, даже чисто с лингвистической точки зрения, более оправданным выглядит подозрение, что во всяких подобных общественных «напастях» и «стихиях» незримо присутствует определенно «не мужская» физиономия – *истерики, паники, брани, разрухи, нужды, нищеты, болезни, смерти...* (... *диверсия, реформа, перестройка, модернизация, инновация, оптимизация, Болонская конвенция...* – ряд легко продолжить...).

В этой связи необходимо заметить, что современной исторической и историософской мысли явно недостает рационального осмысления огромной – и весьма своеобразной – роли женщин и женского начала вообще в различных сис-

темных деструкциях истории – на всех ее уровнях и во всех «подробностях»¹. В настоящей статье коснемся лишь некоторых аспектов этой объемнейшей проблемы, ограничившись краткой версией авторского варианта постановки вопроса о месте и роли *бабы* и *бабьего* в русской смуте – на материалах, прежде всего, 1917 г.

Несмотря на обширные массивы разноплановой литературы, посвященной проблеме гендерной структуры революции и специфике женского в ней участия, ее (революции) «бабья личина» остается на периферии истории – остающейся преимущественно «мужской». И если о «*мужиках* в зипунах» и «*мужиках* в шинели» – как участниках всех массовых процессов в политической истории того времени – сказано уже достаточно, то о «*бабах*» (независимо от их формы одежды) – как не менее (по крайней мере) важных ее (истории) участницах, без которых эта самая «*массовость*» вряд ли была бы достижима – исследователи, как правило, предпочитают упоминать лишь вскользь, поверхностно – и, в некотором роде, «вторично».

Попробуем иначе. Но только сразу особо подчеркнем: речь пойдет не о роли женских личностей в истории революционной эпохи – не об известных женщинах, прямо или косвенно (через своих мужей и других мужчин) повлиявших на ход истории².

Не будем и о развращающем и роковом влиянии отдельных представительниц женского пола особого типа на отдельных, нередко выдающихся представителей пола мужского (хотя, как жестко, но справедливо сформулировано Б. Брехтом, иногда даже и «титанов мысли и гигантов духа до гибели доводит потаскуха»).

Не будем также и о феминистическом движении и о связанных с ним «революционерках», посвятивших «всю себя» непрестанной борьбе за победу своего странного дела – об этом и без того немало уже написано³.

И даже о сложившемся в ходе подготовки и осуществления революции специфически «героическом» *типе женщин* – активных «бойцов» и «палачей» революции, явных

экстремисток, террористок и прочих «бескорыстных убийц»⁴ и им подобных, весьма любопытных, типажей своего времени – тоже не будем.

При особом внимании к вопросу, почему и как «...россиянки поддержали самые радикальные требования и придали дополнительный импульс большевистской партии в борьбе за власть...»⁵, не пойдет речь и напрямую о том, как именно женщины попадали непосредственно в партию большевиков, как складывалась индивидуальная политическая биография «женщины на пути в русскую социал-демократию»⁶ ...

Речь же пойдет, в первую очередь, о широко известном, но слабо осмысленном историческом *типе*: о так называемой «*простой русской бабе*». И о «*бабьем*» – как исключительно значимом факторе массовых социальных процессов в смутное время России–1917 (Хотя, разумеется, не только в России, и не только в 1917-м. Как справедливо подчеркивал тот же самый Лассер, характеризуя настроения и поведение народных масс во Французской революции, именно женщины «...были наиболее воодушевленным элементом среди массы в общем народном движении»⁷).

О «*вечно бабьем*» в русской душе⁸ много и глубоко размышляли отечественные философы, писатели, критики. Да и некоторые иностранные специалисты полагают, что именно мифологизация женственности (так называемый «*феминный миф*») выполняет совершенно особую роль в конституировании русской культуры и русской идентичности в целом⁹. По сформировавшейся в литературе традиции, такая характеристика является особенностью именно России и русских. Например, по мнению И.А. Ильина, европейцам, в отличие от русских, «*вечно-женственного искусства проникать в чужую душу не дано*»¹⁰. Причем даже ставшую хрестоматийной «*всемирную отзывчивость*» русских, их недоступную пониманию иностранцев «*всевосприимчивость*», способность перенимать и перевоплощаться, их «*любопытство к иностранному*» принято относить к «*феминному компоненту*». Так, по образному выражению Г.Д. Гачева, «...это

все – заманивание: русская баба-вампири себе на уме, заманивает его – чтоб на своей территории, на своем теле страсть от него испытать, а его укокошить, всосать, растерзать, убить как амазонки и вакханки»¹¹. А отдельные зарубежные исследователи (например, Д. Ранкур-Лаферье) даже и саму «любовь-ненависть» русских к России предлагают именовать не «патриотизмом», а «матриотизмом»¹², подчеркивая якобы устойчивое доминирование женского над мужским в российской истории и культуре.

Однако с конкретно-исторической точки зрения функция «бабьего» в реальной психологии русской истории вообще и русской смуты в частности – осмыслена пока весьма слабо. В том числе, таким образом поставленная проблема остается чуть ли не «белым пятном» историографии всей так называемой «Февральской демократии», несмотря на то, что последняя, по сути, ведет свое происхождение как раз с «бабьего бунта». А, как метко подметил В. П. Булдаков – один из немногих наших историков, пытавшихся уловить реальный смысл «бабьего» в «Красной смуте»: «...на Руси там, где бабий бунт, там пиши пропало»¹³.

И, пожалуй, не будет большим преувеличением сказать, что «бабье участие» в истории российской «демократии» от Февраля к Октябрю также, наряду с участием “*Ното ebrius*” («Человека пьяного») ¹⁴ было одним из системно-девиантных, *смутоформирующих* факторов, которые в значительной степени осуществляли пандемическую коммуникацию смуты на все необъятное географическое и социокультурное пространство Российской Империи, тем самым определяя абсурдно-химерический характер «самой демократической в мире демократии» в целом и подталкивая ее в сторону традиционного для русской смуты выбора: либо окончательное торжество женственной антигосударственной стихии, полный отказ от скрепляющего русскую государственность Императива и распад мужского Имперского порядка – либо (в терминологии В. В. Розанова) возвращение «*Мужсика-государства*», способного, не останавливаясь пе-

ред самыми антидемократическими мерами, загнать на место «Бабу-революцию»¹⁵.

Необходимо научное осмысление того факта, что в условиях, когда слились в невиданном ранее резонансе эпохальные катаклизмы мировой войны, модернизации, революции, падения монархии, кризиса православия, потери «почвы», тотального ценностного шока – русские «бабы» впервые в отечественной истории были допущены к участию в политике. И впервые в российском политическом процессе, как торжествующе хвасталась радикальная «демократическая» пресса, голос любой неграмотной бабы – голос «каждой работницы, каждой кухарки, прачки, судомойки...» вдруг оказался «равен голосу капиталиста, профессора, чиновника...»¹⁶.

Но проблемы возникли отнюдь не только в смысле избирательного права. По ходу принявшего антисистемный, всенародно-погромный характер бесконтрольного, обвального «развития революции» и «демократии» – в условиях суицидального продолжения участия «революционно-демократической» России в мировой бойне – рост удельного веса женщин в гражданском населении и патологические изменения гендерных пропорций в различных сферах социальной практики активно способствовали эскалации девиантных форм поведения не только на фронте, но и в тылу. Невыносимая ситуация в стране и отчаянная тоска по мужику способствовали беспрецедентному вовлечению женщины в различные формы социальной агрессии, погромы, линчевания и т.п., делали ее легкой добычей демагогов и популистов.

«Слабому полу» еще более (чем «сильному») свойственны негативные формы правового сознания. Неслучайно в современном общественном знании, особенно зарубежном, «на основе эмпирических исследований обоснован теоретический концепт гендерных различий правового сознания, согласно которому женщины демонстрируют более нигилистическое отношение к праву, низкую правовую активность в сочетании с конформным правовым поведением по сравнению с мужчинами»¹⁷. Сравнительно большая нигилистичность женщин по отношению к праву и вообще социальным

нормам – в ситуации всеобщего кризиса и анармии России 1917-го – в полной мере проявилась в процессах катастрофического общероссийского разложения «февральской демократии» – на всех ее уровнях и во всех аспектах.

Действительно, женский вариант народных архетипических черт еще менее мужского (и без того бесконечно далекого от вестернизированной «демократии», устроенной себе на погибель оставшейся без царя (и, прежде всего, «без царя в голове») постфевральской интеллигенцией) соответствовал заемной либеральной альтернативе, но зато оказался даже более отзывчив к инверсионной агитации радикалов, обещавших немедленно решить все проблемы, вернуть мужиков с фронта и указывавших на тех, «кто во всем виноват».

Давно и справедливо подмечено, что *«женщины ни в чем не знают середины: они или намного хуже, или намного лучше мужчин»* (Ж. де Лабрюйер) – и во всеобщем падении запретов гибнущей Империи «бабы» способны были заходить гораздо дальше «мужиков» – и увлекать их за собой помимо их воли. Дурной пример – тем более женский – часто оказывался неудержимо заразительным для дезориентированных безумием воцарившейся смуты и распаленных безнаказанностью масс: «бабье» участие включало архаические механизмы цепной реакции деструктуризации социума и умножало элементы асоциального поведения в геометрической прогрессии, придавало буйно развивавшейся «демократии» чудовищные, «первобытные» черты.

Народный фольклор сохранил шуточные по форме, но, как показала история, нешуточные по смыслу предостережения от увлечения женщин «демократией» и «демократиями». Например, социал-демократическая (меньшевистская) тверская газета «Дело» в августе 1917 года признала вновь актуальными такие, например, частушки на тему «сложных» взаимоотношений «прекрасного пола» с борцами за «народовластие»:

*Не ходите вы, девчонки,
С демократами гулять:
Демократы вас научат
Прокламации читать...*¹⁸

Стоит отметить, что известны подобные «наказы» были еще со времен Первой русской революции. Так, еще в ноябре 1906 г. «Русское слово» (как известно, конституционно-демократическое по своей партийной ориентации) печатало (наряду с уже процитированным):

*Не ходите вы, девчонки,
С демократами на бал:
Демократы вам насуют
Прокламации в карман...*

*По улице девка шла,
Прокламацию нашла,
Не пилось, не елось –
Прочитать хотелось...¹⁹*

Вдоволь с весны 1917-го начитавшись (а скорее, наслушавшись – ведь «баба» в то время была обучена грамоте гораздо реже «мужика») всевозможных демократических прокламаций и прочей агитации и пропаганды самых разных политических партий, вконец дезориентированные «простые женщины» России в лучшем случае заявляли: «Мы за ту партию, которая войну кончит...»²⁰.

Очень редко женщины действительно решали заняться политикой, чаще – «мужские» политические игры вызывали у «нормальной бабы» только брань. Как чуть позже сформулировал «сконфуженный» В. Маяковский:

*Что бабе масштаб грандиозный наш?!
Бабе грязью обдало рыло,
и баба,
взбираясь с этажа на этаж,
сверху
и меня
и власти крыла.*

*Правдив и свободен мой вещей язык
И с волей советскою дружен,
но натолкнувшись на эти низы,
даже я запнулся, сконфужен...*

Ну а в худшем – и, к сожалению, весьма распространенном, *типическом для смуты* – случае, именно «политически» активные бабы становились детонатором и катализатором массового насилия и провокатором всевозможных кол-

лективных девиаций. И уже «в февральские дни случилось, что изумленные офицеры кричали рабочим – “За кем вы идете, ведь вас ведет баба!”»²¹.

По самой своей природе, в сложившейся ситуации (в условиях «ненормального» исторического времени) женщины оказывались наиболее эффективным актором «массовизации» и «охлократизации» социально-политического процесса. Как давно известно психологии масс, в «нормальное» историческое время, «в организованном, структурированном обществе, в сознании и поведении образующих его людей существуют психологические границы, возникающие в связи с принадлежностью людей к тем или иным группам. Каждый знает свою “территорию” и редко может нарушить существующие границы. Однако стоит случиться какому-то крупному социально-политическому потрясению, как эти границы рушатся. Тогда люди образуют неструктурированную массу, а их психика и поведение приобретают дезорганизованный, стихийный, массовый характер»²².

И вот как раз в этом самом «хоровом» обрушении психологических границ – в превращении стабильного структурированного общества (подчиняющегося определенному, рациональному, мужскому порядку в рамках социального космоса) в принципиально неструктурированные и неустойчивые массы (подчиняющиеся смутной, иррациональной, женственной стихии коллективного бессознательного на волнах бунтующего социального хаоса) – женщины, без сомнения, выполняют главную партию.

Этот специфический женский вклад в российскую «демократию» сыграл далеко не последнюю роль в актуализации всех негативных сторон общенародной ментальности. Как известно, «женщина» (по выражению М. Шелера, «более слабая, поэтому более мстительная женщина, вынужденная вследствие своих личных, не поддающихся изменениям качеств постоянно вести конкурентную борьбу со своими подругами за расположение мужчин»²³) является одним из основных ресентиментных типов. И тип этот (выражающий озлобленное, мстительное переживание объектив-

ной тщетности попыток изменить свою жизнь к лучшему – сублимирующееся в особого рода протестную, негативистско ориентированную мораль) исключительно важен для осмысления психологии масс, особенно в условиях революционного хаоса.

Кроме того, психологи уже давно уловили, что «женственность» вообще имманентна массовому сознанию как таковому. Еще Г. Лебон писал, что массовое сознание «знает крайние чувства или глубокое равнодушие. Оно страшно женственно и, как всякая женщина, отличается полной неспособностью владеть своими рефлекторными движениями. Оно беспрерывно колеблется по воле всех веяний внешних обстоятельств...»²⁴. А ведь именно массовое сознание и было доминантой политической истории тектонического всероссийского сдвига – от химерической «демократии» – к реальной диктатуре. И «бабы» сыграли в этой драматической истории если не главную, то, во всяком случае, характерную роль – с резко выраженным амплуа и полной незаменимостью в сюжетном плане.

Уже цитированный В.В. Розанов свое художественно-гендерное понимание особенностей русской революции (еще по событиям 1905–1907 гг.) выразил так: «В революции русская баба пошла на мужика. Мужик – трезвен, живет в работе, мужик – практик. Баба сидит у него за спиной и все воображает, живет истомами сердца и “мечтами, которые слаще действительности”... Вся революция русская – женственная, женоподобна; в ней есть очень много “хлыстовщины”, и хлыстовщина-то и сообщает ей какой-то упорный, не поддающийся лечению и искоренению, характер, пошиб. Баба-революция пошла на мужика-государство: Уленька восстала, с истерикой и слезами, на “Мертвые души”, на своего папашу-генерала, на Чичикова, на всех... Бабы – не государственники; и оттого русская революция не выдвинула ни одного государственного ума, государственной прозорливости, государственной умелости. Она вся – только сила, только порыв: без головы. Вся статья бабья»²⁵.

По мнению писателя, «в основе всего лежит христианский сентиментализм (*так в тексте. – П.М.*), тот сентиментализм, который не переносит самого вида жесткой государственности, этого наследия Рима. Революция все хочет вернуть к какой-то анархии “доброты” и бесформенности старого Востока; по крайней мере наша русская, “хлыстовская” революция – тянет к этой восточности, несмотря на ссылки – для приличия – на Маркса. Она очень мало созидательна. Она более всего разрушительна. Она не хочет жестких углов, твердых граней, крепких линий. Ничего мужичьего. Она хотела бы оставить один “быт” без всякого “государства”; оставить то, что не задело бы шероховатостью своею, своей щетинкой, ни Уленьку, ни Соню Мармеладову, ни пьяньего папашу этой Сони... Иногда думается, что революция наша тянет не к усовершенствованному заводско-фабричному строю Запада: это – только соус, предлог и оправдание “бомб”. “Хлеб насущный” не в этом. Заветная цель всех “бомб” – великий Китай, с отвлеченно-невидимым “богдыханом”, с анархией провинций, где “всякий сам барин”, с безобразной и в сущности ненужною администрациею, – и где люди только плодятся и пашут. Вот когда Уленька сядет в такую теплую кашницу – революция прекратится. Нужно сказать полнее: когда Уленька начнет плодить детей, и революция прекратится. А пока жестко – она остается девственна: она будет чувствовать себя как у хлыстов их “богородицы”; и пока она будет такова – она не перестанет подымать бомбы»²⁶.

По поводу такой сплошной «бабьей» интерпретации России и русской революции Н.А. Бердяев уже самого Розанова обвинил в «бабьем» (которое откровенно сближал по существу с «рабьим») и высказался так: «...и страшно становится за Россию, жутко становится за судьбу России. В самых недрах русского характера обнаруживается вечно-бабье, не вечно-женственное, а вечно-бабье. <...> И это “бабье” чувствуется и в самой России»²⁷.

Так или иначе, но голос бабы не был вовремя услышан мужской властью – и в результате стал для грянувшей

русской революции чем-то вроде оглушающего лейтмотива, напоминавшего практически непрерывный, полностью перекрывавший и без того тихие и редкие доводы разума, рев «валаамовой ослицы» (причем в обоих смыслах этого слова сразу – и как предельно молчаливого и покорного человека, который неожиданно для всех вдруг посмел высказать свое, отличное от других, мнение – и как предельно упрямой, немной и неграмотной женщины).

Известно, что весь «роковой» период отечественной «демократии» от Февраля к Октябрю – как бы «обрамлен» двумя противоположными по знаку, но созвучными по аномальности символическими актами женского участия в политической истории России: «23 февраля, в Международный женский день (*по ст. ст. – прим. П. М.*), когда женщины-работницы и жены солдат заполнили улицы Петрограда, и в финальном акте, когда в октябре так называемый Женский батальон принимал участие в защите Зимнего дворца и Временного правительства»²⁸.

По поводу начальных событий Февраля в Петербурге И.Л. Солоневич в работе со знаковым наименованием «Диктатура импотентов» подчеркнул, что вообще вся революционная столица России – «как истерическая баба»²⁹ – стала не местом организации социального согласия, а средоточием разжигания дурных страстей. А в работе «Великая фальшивка февраля» он категорически утверждал буквально следующее: «В феврале 1917 года *никакой* революции не было: был бабий хлебный бунт...»³⁰. По настойчивому, неоднократно повторенному свидетельству писателя, именно «бабий бунт» лежит в основе всей Февральской революции, и именно «бабы» являются ее подлинными творцами: «23 февраля 1917 года был “Международный женский день”, кое-как использованный большевиками: чухонские бабы вышли на улицы Выборгской стороны и начали разгром булочных. Так что если следовать по стопам некоторой части нашей публицистики и из всех звеньев русской революции выбрать одно – по вкусу и усмотрению своему, то можно сказать и так: русскую революцию начало чухонское ба-

бье»³¹... Обобщая случившееся, Солоневич предложил свою собственную «редакцию» истории Февраля: «В феврале месяце Петроград представлял собою пороховой погреб, к которому оставалось поднести спичку. Роль этой спички, или детонатора, или “случая” – называйте как хотите – пришла на долю чухонских баб. Так что при добром желании историю Февраля можно средактировать так: в Февральской революции виноват А. Керенский. Но можно средактировать и иначе: Февральскую революцию сделали чухонские бабы Выборгской стороны»³².

С горькой иронией подводя итоги фальшивого «Великого Февраля» – и по «революционным вождам», и по «революционным бабам» – Солоневич резюмировал: «Разные люди играли разную роль. Основной пружиной революции был, конечно, А.И. Гучков. Основной толчок революции дали, конечно, чухонские бабы. Чухонские бабы не имели, конечно, никакого понятия о том, что именно они делают. Горькая ирония истории заключается в том, что А.И. Гучков понимал никак не больше чухонских баб»³³.

А западный исследователь феминистского движения в русской революции Р. Стайтс описывает те же самые события так: «Первый эпизод революции начался с беспорядков в столице 23 февраля, в день, который, начиная с 1913 года, периодически отмечался в России как Международный женский день. Вскоре после этого Питирим Сорokin записал в своем дневнике: “Если будущие историки захотят узнать, кто начал русскую революцию, то им не следует создавать запутанной теории. Революцию начали голодные женщины и дети, требовавшие хлеба. Они начали с крушения трамвайных вагонов и погрома мелких магазинчиков. И только позже, вместе с рабочими и политиками, они стали стремиться к тому, чтобы разрушить мощное здание русского самодержавия”. Для опровержения простых истин, содержащихся в этом утверждении, было написано несколько впечатляющих исследований. И все же, по существу эта идея верна. Нам никогда не удастся измерить глубину желания работниц и масс в целом “разрушить” само-

державие, но все-таки они его разрушили. Показывая своим примером, чаще всего случайно, безнаказанность массовых гражданских беспорядков, они тем самым продемонстрировали безнадежную неспособность правительства обеспечить порядок в самом средоточии своей власти»³⁴.

Власть, как обычно это происходит в начале каждой русской смуты, продемонстрировала полное непонимание механизмов массового сознания и вопиющую слепоту и глухоту в отношении собственного народа. Тем не менее, бабий бунт был предсказуем – и его можно было избежать. Опасность сложившейся ситуации накануне февральских событий – в том числе, и в таком – специфически «женском вопросе» – до власти тщетно пыталась донести и Охранка. Так, начальник Петроградского охранного отделения К.И. Глобачев в конце января – начале февраля 1917 г. предупреждал (в официальном докладе директору Департамента полиции А.Т. Васильеву, включенном последним во всеподданнейшую записку 5 февраля): «...матери семей, изнуренные бесконечным стоянием в хвостах у лавок, пострадавшие при виде своих полуголодных и больных детей, пожалуй сейчас гораздо ближе к революции, чем г.г. Милюковы, Родичевы и К^о; и, конечно, они гораздо опаснее, так как представляют собою тот склад горючего материала, для которого достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар. <...> И эти массы – самый благодарный материал для всяческой, открытой или подпольной, пропаганды...»³⁵.

В конце концов, в начавшихся благодаря самоубийственному попустительству властей «революционных» беспорядках, главным субъектом которых были опьяненные «демократией» толпы (и опьяненные зачастую отнюдь не только в переносном смысле), именно бабы играли совершенно особую – «толпообразующую» и толповдохновляющую» – роль.

Во-первых, бабы, очень часто выступая самыми активными и агрессивными участниками толпы, являлись, как правило, еще и ее основным эмоциональным зачинателем и катализатором – и уже самим фактом своего участия выпол-

няли функции провокации, подстрекательства, поощрения мужиков на все более и более радикальные действия, заводили, заражали их психопатическими реакциями, нагнетали особую атмосферу «бабской» истерии и всеобщего умопомрачения, стимулировали общую психопатологию смуты.

Кроме того (и этот факт давно известен психологии масс), по сравнению с мужчинами, женщины в толпе обладают минимальным порогом возбудимости и максимально уязвимы для шокирующих стимулов, поэтому, даже и против своего желания, самим фактом своего нахождения в массе, они легко становятся источником, от которого сильные (чаще, деструктивные) эмоции передается остальным – неосознанно, «внекритичным» образом (в обход критических, рациональных механизмов сознания): «Происходит взаимная индукция и нагнетание эмоционального напряжения через механизм циркулярной реакции. Далее, если не приняты своевременные меры, масса окончательно деградирует, люди теряют самоконтроль...»³⁶ – и вступают в действие архаические коллективные механизмы дорационального, спонтанного, бессознательного поведения.

Во-вторых, как тоже уже давно исследовано специалистами по психологии толпы, даже простое (пассивно-страдательное) «присутствие в толпе женщин и детей... плохо еще и потому, что звук высокой частоты – женские или детские крики – в стрессовой ситуации оказывает разрушительное влияние на психику»³⁷.

В этой связи нельзя не заметить, что и вообще весь звуковой ряд смуты – скорее женский, нежели мужской: это, прежде всего, не мужицкий гомон, а бабий визг, выступавший своеобразным камертоном, по которому настраивалась жутковатая мелодия стремительно нараставшей революционной вакханалии. Да и визуальный образ смуты и революции точнее передает все-таки не расхристанный мужик, а баба с голой грудью – и как призыв мужских масс на баррикады во имя жен и матерей, и как манящий символ «свободы» – хмельной «революционной» вседозволенности. Симптоматично, что некоторые художники и художественные

критики предреволюционного и революционного периодов отечественной истории собственно именно в образе «бабы» и видели зримое воплощение всей *Русской революции* вообще – и этот факт не остался в стороне от наблюдений и выводов современных исследователей изобразительной семиосферы того времени. Так, В.Б. Аксенов подмечает: «По признанию критиков, ярчайшими символами-предвестниками народного бунта являлись картины Ф. Малявина из серии “Бабы”. Накануне первой революции в 1904 г. критик С. Глаголь писал о них: “Разве не веет от этих образов какой-то особой, смутной, титанической силой? Сила эта темна, стихийна и животна, но не таковы ли и должны быть бабы, рожавшие сподвижников Ермака, чудобогатырей Суворова и понизовую вольницу? В этих кроваво-огненных красках чудится отблеск каких-то необъятных пожаров, какой-то оргии кровавой”... Одна из самых знаменитых работ художника, продолжавшая серию “Баб”... написанная в разгар революции в 1906 г. картина “Вихрь”, на которой его бабы вдруг пустились в безудержный пляс, имевший что-то от древнеязыческой мистерии. Увидев это полотно, И. Репин назвал его “самой яркой картиной революционного движения в России”. Предчувствуя вторую революцию в 1916 г., критики опять обратились к творчеству Малявина: “Красная баба идет... Кажется, она все испепелит и своротит на своей дороге. Гудит эта картина, к зрительному впечатлению как будто примешивается и слуховое... Страшные бабы... Недаром Малявин возвращается к ним так настойчиво. Он в них почуял Россию”... Женское начало, тем самым, символизировало в философии Малявина русскую бурю – революцию и уходило корнями в языческую историю народа. Малявинский художественный образ бабы не был случаен и в социальной сфере отражался в таком массовом явлении как бабий бунт...»³⁸.

В-третьих, представляя собой идеальную питательную массу для стихийного формирования, эмоциональной подзарядки и все большего раскачивания амплитуды эпидемического разгула толп, зажигательное сырье для хулиган-

ствующей охлократии и праздничный магнит для измученных воздержанием и адскими фронтовыми буднями солдат и матросов, бабы, в большинстве своем еще более чем мужики «темные» и «дремучие» в вопросах политики, были еще и куда более легковерны и отзывчивы – как на наглое запугивание, так и на пустые обещания – и являлись идеальным объектом для манипуляции, демагогии и всевозможных форм политической и политиканской суггестии.

В-четвертых, бабы, пользуясь относительной (обусловленной самой половой принадлежностью, здоровым мужским инстинктом и традиционными культурными табу) безнаказанностью своих противоправных и подстрекательских действий, служили поистине незаменимым медиатором между революцией и войсками. Как было официально признано и канонически закреплено в «Кратком курсе...», с самого начала Февральской революции именно непосредственное и в высшей степени эмоциональное участие женщин было решающим в борьбе за массовые настроения войск – и тем самым фактически определило судьбу самодержавия в России 1917-го: «Борьба за войско развернулась самая энергичная и настойчивая, в особенности со стороны женщин-работниц, которые обращались непосредственно к солдатам, братались с ними, призывали их помочь народу свергнуть ненавистное им царское самодержавие»³⁹.

И действительно – в том, что войска в массовом порядке переходили на сторону революции, основная заслуга, как правило, принадлежала бабам. Их роль вообще трудно переоценить в типичной ситуации, когда «...маршевые батальоны автоматически ставились в очень неудобное психологическое положение: стрелять в голодных баб? Одно дело – социалисты и революционеры, другое дело – бабы, которым, может быть, дома детишек кормить нечем»⁴⁰. Знавший толк в практической работе с массами Л.Д. Троцкий с удовлетворением отмечал значение женского участия в «революционизировании» солдат и в пошаговой динамике развития революции в целом: «Большую роль во взаимоотношениях рабочих и солдат играют женщины-работницы.

Они смелее мужчин наступают на солдатскую цепь, хватаются руками за винтовки, умоляют, почти приказывают: “Отнимите ваши штыки, присоединяйтесь к нам”. Солдаты волнуются, стыдятся, они тревожно переглядываются, колеблются, кто-нибудь первым решается, и – штыки виновато поднимаются над плечами наступающих, застава разомкнулась, радостное и благодарное “ура” потрясает воздух, солдаты окружены, везде споры, укоры, призывы – революция делает еще шаг вперед»⁴¹.

В-пятых, наконец, бабам принадлежала определяющая роль в характерном для смуты общесоциальном смещении «границ дозволенного» все дальше и дальше, за «точку невозврата». Их участие в массовом насилии и всеобщем «крушении устоев» было не просто более заметным – и более знаковым (по сравнению с куда более «традиционным» мужским насилием) – оно как раз и делало это крушение необратимым, окончательно отменяющим саму даже гипотетическую возможность эволюционной альтернативы революции. По точному наблюдению В.П. Булдакова, «ужасают не масштабы насилия, а то, что оно вызывало удовлетворение у женщин. Это и есть важнейший показатель психопатологического вырождения революции»⁴².

Яркой иллюстрацией к таким выводам могут послужить воспоминания врача М.М. Мелентьева – непосредственного очевидца «революционных выступлений» в Кронштадте – о той роли, которую в первый же день так называемой «бескровной» и «демократической» Февральской революции исполняли массовые представительницы «прекрасной части» резко активизировавшегося демоса: «Кто был вдохновителем и руководителем событий этого дня в Кронштадте, – не знаю. Несомненно, здесь было много стихийного, слепого и страшного мщения. Роковую роль в жестокостях играли женщины, работницы порта. Эта слабая часть человеческого рода оказалась неумолимой и жестокой, и своими истерическими и иступленными воплями: “Бей его, бей!” – побуждала мужчин к убийствам и расправам там, где они этого и не предполагали делать. Я сам был

свидетелем, как группа матросов вела капитана первого ранга Степанова в тюрьму. Ничего плохого за этим человеком не числилось, и вели его добродушно и мирно, выполняя задачу этого дня. И вдруг навстречу куча разъяренных баб, угорелых от крови и массового убийства: “Бей его, бей! Куда ведете?! Одним меньше будет!”. И бросились, и начали бить человека, совсем незнакомого, не сделавшего им ни малейшего зла. Через минуту бесформенная масса валялась на снегу. К вечеру во внутреннем дворе госпиталя высилась громадная куча обезображенных людских тел с офицерскими погонами. Шел снежок и тихо засыпал этот трофей революции, а женщины лезли через заборы, стояли у всех щелей, любопытствовали, смеялись и оскверняли своими нечистыми побуждениями самое важное в жизни каждого человека – смерть»⁴³...

В таком смысле, «бабье» начало русской революции предопределяло ее катастрофическую направленность, делало неизбежными ее трагические для всего народа последствия. «Феминный компонент» общей динамики вырождения «революционной свободы» в постфевральской России уже весной (26 мая) 1917 г. в знаменитом стихотворном обращении к К. Бальмонту гениально схватила М. Цветаева:

*Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей...
– Свобода! – Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.
Свершается страшная спевка, –
Обедня еще впереди!
– Свобода! – Гулящая девка
На шалой солдатской груди!*

А в известной далеко за пределами Петрограда газете «Речь» уже в сентябре 1917 г. делалась, например, и такая аутентичная попытка еще тогда не только вычленить, но и обобщить и в целом подытожить тему «бабьего» в революции, увязав эту проблему с психологией большевизма по самой его природе: «В основе своей нарастающий **большеви-стский бунт есть бабий бунт** (выделено мной. – П.М.), вос-

стание против власти, не дающей молока, движение озлобленной обывательщины...»⁴⁴.

Разумеется, проблема куда сложнее и неоднозначнее, чем в приведенной цитате. И нет никаких оснований всецело доверять кадетскому органу печати, по понятным причинам не склонному к позитивной оценке политической активности ни большевиков, ни «баб». Но и отмахнуться от поставленной проблемы было бы нечестно для ученого, искренне пытающегося воссоздать и осмыслить историю с ее «живыми людьми».

Об огромной роли «баб» и «бабьего» в различных «революционных» девиациях и «эксцессах» (уличных беспорядках, погромах, линчеваниях и прочих формах массового насилия «смутного времени») отчетливо свидетельствуют и более серьезные документы. Так, в экспертных аналитических обзорах важнейших правонарушений Главного управления по делам милиции МВД Временного правительства по поводу так называемых «продовольственных эксцессов» (под которыми в абсолютном большинстве случаев подразумевались банальные погромы), подчеркивается: «...характерной чертой всех продовольственных эксцессов является **преобладающая роль в них женщин** (*здесь и далее выделено мной. – П.М.*). **Женщины не только составляют необходимый и важный элемент в толпе, производящей беспорядки, но сплошь и рядом являются инициаторами продовольственных эксцессов... призывают к насилиям и погромам, поощряют и возбуждают солдат к разгромам и хищениям... Во многих случаях эксцессы совершаются толпами, состоящими исключительно из женщин**»⁴⁵.

Справедливости ради, стоит все же заметить, что иногда именно группы женщин, напротив, оказывали определенную (увы, эпизодическую) роль в локальном сопротивлении погромам и грабежам. Например, даже в ходе грандиозного пьяного погрома в Самаре в мае 1917 г. были зафиксированы отдельные случаи, когда активное вмешательство трезвых, но решительно настроенных «настоящих русских баб» заставля-

ло мужчин-погромщиков временно отступить. Так, в газете «Волжский день» описывается ситуация, когда «вступившие в бой прачки» вынудили ретироваться пьяных громил и даже сумели отнять у них часть награбленного⁴⁶. Но все же более типичным для Смуты–1917 следует признать массовое участие женщин в «беспорядках» по схеме, обобщенной в приведенных выше документах Главного управления по делам милиции. Да и тот же «Волжский день», спустя всего несколько дней после упомянутого «нетипичного» случая, описывая отголоски самарского погрома уже в области (в Бугуруслане), в качестве главных виновников конкретно указывает опять же на женщин: «Солдаты и разнузданные бабенки совершили в городе погром и наложили на Бугуруслан позорное клеймо “бунтовщиков”... Зачинщиками явились женщины... потом к ним присоединились солдаты»⁴⁷...

На таком историческом фоне слегка отдающая мужененавистничеством установка «У войны не женское лицо» выглядит гораздо дальше от жизненных реалий, чем откровенно женофобская библейская констатация: *«Всякая злость мала по сравнению со злостью жены»* [Сирах 25: 21]. (Хотя разудалые солдаты и матросы российской «демократии» образца 1917-го неосознанно предпочитали первый вариант – однако в его куда более жизнеутверждающей редакции, простонародно вывернутой на рифмованную изнанку военной прозы: *«Без баб и вина и война не нужна»*)⁴⁸...

В заключение подчеркнем: автор ни в коей мере не относит себя к женоненавистникам (скорее наоборот: приведенная выше солдатская поговорка, во всей своей грубой фронтовой правде, еще даже и недостаточно радикальна – без женщин мужчинам очень скоро опротивели бы не только войны и революции, но и сама жизнь). И все сказанное вовсе не означает, что женский гендер русской революции исчерпывается лишь изоморфностью толпе, нагнетанием истерического градуса всенародной смуты и провокацией мужчин на бессмысленное и беспощадное массовое насилие.

Есть и оборотная сторона. Женщины, по природе своей менее склонные к поискам рационального смысла и

рефлексивному контролю над собственными рефлекторными действиями, как правило, обладают более развитым инстинктом самосохранения, размножения и выживания потомства – и редко ошибаются, интуитивно выбирая сторону победителя.

Или, напротив, в социальных явлениях массового порядка побеждают те силы, на стороне которых оказываются женщины...

Так или иначе, но факт: из всех конкурентоспособных политических сил России в 1917 г. удачнее всех особенностями женской психологии русской смуты и революции воспользовался большевизм. Как скромно и честно признал сам его вождь: «Из опыта всех освободительных движений замечено, что успех революции зависит от того, насколько в нем участвуют женщины»⁴⁹...

Виной ли тому мужская самонадеянность лидеров партий, брезгливо дистанцировавшихся от шумных, но «темных» женщин, или общедоктринальная глухота заигравшейся в демонстративно «мужскую» политику русской интеллигенции – но «демократические» оппоненты большевиков проигнорировали самый громкий из всего демоса голос – голос «бабы». И это стало одной из причин их исторического поражения.

Большевики же, не брезгуя обращением непосредственно к «простым русским бабам», причем делая это на понятном им языке, превратили их участие в один из психологических ресурсов своей исторической победы. Так то, что для одних представлялось лишь внешним безумием, логично становилось внутренним источником силы других.

Бабий бунт – самый бессмысленный и беспощадный из всех возможных. И более безумную форму социального протеста сложно представить. Но, как удачно сформулировал устами Полония еще В. Шекспир, у всякого безумия есть своя логика: *«Хотя это и безумие, но в нем есть метод. <...> Часто безумию удается открыть то, что разум и здоровье никогда не смогли бы изобрести...»*.

Библиография и примечания

¹ См.: *Марченя П.П.* Баба и Смута: К мифу о «не женском лице войны» и прочих социальных бед // *История в подробностях.* 2012. № 11. С. 82–89.

² Хотя это тоже, безусловно, способно стать темой самостоятельного исследования. Достаточно привести лишь один пример: если бы последней русской Императрицей – «Царственной половиной» самодержавно-несостоятельного «Царя-Батюшки» Николая II – была не его ненавистная народу за явно неадекватное поведение «Александра Федоровна» (урожденная Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса Гессен-Дармштадтская), а более отвечающая исторической роли «Царицы-Матушки» особа – возможно, никакой смуты и революции в Российской империи и вовсе бы не случилось.

³ Заметим лишь кстати, что даже сочувствующие революции и женскому в ней участию историки нередко оценивают это участие и самих участниц скорее негативно – и не только в традиционно тяготеющей к патриархату России. Даже охотно цитируемый феминистками историк Великой Французской революции, «галантный галл» А. Лассер, выразил такое отношение следующим толерантным и «политкорректным» образом: «Внимательно изучив женские персонажи, я пришел к убеждению, что их поступки были в общем скорее вредны, чем благоприятны для революционного прогресса. Чтобы убедиться в этом, достаточно приглядеться к портретам в их галерее, которая не представляет собою святилища, и остановиться перед теми, роль которых была вполне очевидна, не вникая далее в их деятельность и не подводя ей итоги» (*Лассер А.* Коллективное участие женщин в Великой Французской революции. СПб., 1907 // *Vive Liberta: Великая Французская революция: протестные, революционные и национально-освободительные движения.* – Революция женского рода // http://vive-liberta.narod.ru/revol_fem/lasser_1.htm).

⁴ См.: *Женщины-террористки в России: Бескорыстные убийцы.* Ростов н/Д., 1996.

⁵ *Кулик В.Н.* Первые выборы после победы суфражизма в 1917 г.: избирательницы и политические партии (на примере Тверской губернии) // *Гендерная реконструкция политических систем.* СПб., 2004. С. 327.

⁶ См.: *Дьяконова И.А. Б.* Физелер. Женщины на пути в русскую социал-демократию в 1890–1917 годах. Опыт создания коллективной биографии: [рецензия] // *Отечественная история.* 1997. № 5. С. 188–190.

⁷ *Лассер А.* Указ. соч.

⁸ *Бердяев Н.А.* Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности // *Бердяев Н.А.* Падение священного русского царства: Публицистика 1914–1922. М., 2007. С. 15–206. (О «вечно бабьем» в русской душе. С. 43–52).

⁹ См., напр.: *Hubbs J.* Mother Russia. The Feminine Myth in Russian Culture. Bloomington, 1988.

¹⁰ *Ильин И.А.* О вечно-женственном и вечно-мужественном в русской душе // *Ильин И.А.* Собр. соч. в 10 т. Т. 6. Кн. 3. М., 1997. С. 187.

¹¹ *Гачев Г.Д.* Русский Эрос. М., 1994. С. 271–272.

¹² См.: *Рябов О.В.* «Матушка-Русь»: Опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности России в отечественной и западной историософии. М., 2001. С. 112

¹³ Разница во времени: «Любить по-русски»: (Любовь и секс на полях Первой мировой войны сквозь призму военной цензуры) // Радио Свобода: [Запись радиозаписи от 1 марта 2000 г.] // <http://archive.svoboda.org/programs/TD/2000/TD.030100.asp>.

¹⁴ *Марченя П.П.* “Homo ebrius” в антропологии русской смуты: к постановке проблемы // Философские исследования и современность. Вып. 3. М., 2014. С. 137–162.

¹⁵ *Розанов В.В.* Л. Андреев и его «тьма» // *Розанов В.В.* О писательстве и писателях. М., 1995. С. 261.

¹⁶ Правда. Пг., 1917. 29 июля. См. также: *Кулик В.Н.* Российские женщины в 1917 г. // Революция и человек: быт, нравы, поведение, мораль. М., 1997. С. 82.

¹⁷ См.: *Петрулевич И.А.* Специфика правового сознания женщин (гендерный аспект) // Теория и практика общественного развития. 2010. № 1 // <http://teoria-practica.ru/-1-2010/sociology/petrulevich.pdf>.

¹⁸ См.: Дело. Тверь, 1917. 23 августа. См. также: *Кулик В.Н.* Тверитянки в 1917 году // Женщина. История. Общество. Тверь, 1999. Вып. 1. С. 138–148.

¹⁹ Русское слово. М., 1906. 11 ноября. См. также на сайте «Газетные старости» // <http://starosti.ru/article.php?id=1984>.

²⁰ СОГАСПИ (Самарский областной гос. архив социально-политической истории). Ф. 3500. Оп. 1. Д. 218. Л. 104 [Воспоминания крестьянки Самарской губернии М. Хамелевой].

²¹ Цит. по: *Булдаков В.П.* Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997. С. 55.

²² *Ольшанский Д.В.* Психология масс. СПб, 2001. С. 19.

²³ *Шелер М.* Ресентимент в структуре моралей. СПб., 1999. С. 38.

²⁴ Цит. по: *Ольшанский Д.В.* Указ. соч. С. 19.

-
- ²⁵ *Розанов В.В.* Указ. соч. С. 261.
- ²⁶ Там же.
- ²⁷ *Бердяев Н.А.* Судьба России. С. 48, 52, 44–45.
- ²⁸ *Стайтс Р.* Феминистское движение и большевики // Гендерная реконструкция политических систем. СПб., 2004 // <http://www.owl.ru/win/books/genderpolicy/stites.htm>.
- ²⁹ *Солоневич И.Л.* Великая фальшивка февраля. М., 2007. С. 282.
- ³⁰ Там же. С. 35.
- ³¹ Там же. С. 85–86.
- ³² Там же. С. 84.
- ³³ Там же. С. 87.
- ³⁴ *Стайтс Р.* Указ. соч.
- ³⁵ Цит. по: *Глобачев К.И.* Правда о русской революции: воспоминания бывшего начальника Петроградского охранного отделения. М., 2009. С. 378.
- ³⁶ См.: *Назаретян А.П.* Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и политической психологии. СПб., 2004. С. 71.
- ³⁷ См.: там же. С. 71–72.
- ³⁸ *Аксенов В.Б.* Политическая семиосфера и психологическая динамика российского общества в 1914–1917 гг.: от мистификации общественного сознания к революционному кризису // Россия и революция: прошлое и настоящее системных кризисов русской истории. М., 2012. С. 16–17.
- ³⁹ История ВКП (б): Краткий курс. М., 1946. С. 169.
- ⁴⁰ *Солоневич И.Л.* Указ. соч. С. 89.
- ⁴¹ *Троцкий Л.Д.* История русской революции: в 2 т. Т. 1: Февральская революция. М., 1997. С. 128.
- ⁴² *Булдаков В.П.* Красная смута. С. 122.
- ⁴³ *Мелентьев М.М.* Мой час и мое время: Книга воспоминаний. СПб., 2001. С. 91–92.
- ⁴⁴ См.: Речь. Пг., 1917. 13 сентября.
- ⁴⁵ ГАРФ. Ф. 1791. Оп. 6. Д. 401. Л. 171.
- ⁴⁶ См.: Волжский день. Самара, 1917. № 93 (3 мая).
- ⁴⁷ Там же. № 98 (9 мая).
- ⁴⁸ См.: Разница во времени: «Любить по-русски» // <http://archive.svoboda.org/programs/TD/2000/TD.030100.asp>.
- ⁴⁹ *Ленин В.И.* Речь на I Всероссийском съезде рабочих 19 ноября 1918 г. // *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 37. С. 186.